

МИХАИЛ ЧВАНОВ

СОВЕСТЬ РОССИИ

Всю глубину этой потери мы ещё долго будем осознавать. Центральные СМИ, ещё в полную меру не освободившиеся от леволиберальной болезни и в течение десятилетий не пускавшие его на экран и на полосы газет, отозвались на его смерть в весьма сдержанных тонах: умер известный русский писатель, яркий представитель деревенской прозы, словно в определении “деревенский” есть что-то уничижительное.

На столе передо мной – программка Иркутского Театра юного зрителя. Спектакль “Прощание с Матёрой”. На ней рукой Валентина Григорьевича Распутина: “Приезжай, Миша, в Иркутск ещё, а я приеду в Уфу. 7 октября 2003 года”. Приехав в Уфу на церемонию вручения ему Аксаковской премии, он подарил мне свою книгу “Сибирь, Сибирь...”, созданную в соавторстве с фотохудожником Борисом Дмитриевым, с надписью: “Мише Чванову дружески, в надежде на сибирские встречи”. Так мы поочередно ездили друг к другу.

Его отличала великая скромность. Однажды на каком-то большом общественном форуме, кажется, на одном из съездов Всемирного русского народного собора в своём выступлении я назвал его великим русским писателем, в перерыве он резко отчитал меня за это, наверное, никогда я не видел его таким возмущённым: “Не нам с тобой судить...”. Несмотря на многолетнюю дружбу, я долго не мог перейти на “ты”, что его раздражало.

Не скрою, с большим трудом, как в своё время и Василия Ивановича Белова, ставшего первым лауреатом Всероссийской Аксаковской литературной премии, мне удалось уговорить Валентина Григорьевича приехать на Международный Аксаковский праздник: даже они поддались лжи, усердно выливаемой в 90-годы на Башкирию, как на рассадник сепаратизма и антирусских настроений.

Приехав, он, как и В. И. Белов, полюбил Башкирию и, несмотря на чрезвычайную занятость, болезни и на то и дело сваливавшиеся на него беды, он приезжал ещё несколько раз. Он полюбил Уфу, завидовал её новостройкам, в противовес Иркутску, где строительные краны тогда были большой редкостью, любил после торжественного Аксаковского вечера в Аксаковском народном доме в одиночку наедине со своими мыслями в сумерках под шорох листопада обойти дом, в котором Сергей Тимофеевич Аксаков провёл свое раннее детство,

Два человека, которые “сломали” мою жизнь, выбили её вроде бы из сложившегося в мои тридцать с немногим лет течения жизни. Первый – великий печальник славянства, президент Международного фонда славянской пись-

менности и культуры Вячеслав Михайлович Клыков, положивший свою жизнь, как и И. С. Аксаков, на попытку духовного объединения разорванного славянства перед нынешними и грядущими общими бедами. Глотая горечь братского славянского раздора и постепенно освобождаясь от сидящего внутри меня славянофила, я проеду и пройду с Клыковым и уже без него по славянским странам, стану свидетелем, как спасённые Россией по зову И. С. Аксакова братушки-болгары будут бегать по Русскому проспекту в Софии с транспарантами “Лучше турки, чем русские”. При мне на памятнике Алёше-освободителю в Пловдиве будут малевать чёрной краской: “оккупант”, — а супердемократическая газетёнка с таким знакомым нам ленинским названием “Искра” выйдет со статьёй “Кирилл и Мефодий — греческие агенты, внедрённые в болгарское самосознание”. Я окажусь в пекле страшной межславянской войны в Югославии, где, защищая одних славян от других, снова сложат головы русские добровольцы, а под занавес её братушки-болгары радостно предоставят свои аэродромы под самолёты НАТО для удобства бомбёжек сербских городов. . .

Второй человек, кто изменил вектор моей судьбы, — Валентин Григорьевич Распутин. Наверное, у него не менее, чем у Клыкова, болела душа по братьям-славянам, и друзей среди братьев-славян было у него не меньше. Но он полностью был согласен с выводом И. С. Аксакова, который тот сделал и выразил в письме к родным из Черногории во время путешествия по славянским землям, вывод, который как никогда злободневен сегодня: “Я вообще убедился, что только одно есть действительное средство поднять славянский дух в прочих угнетённых племенах, — это чтобы сама Россия стала Русью: этот один факт, без всякого вмешательства политического, без всякой войны, оживит и направит на путь дух прочих онемеченных, обитальённых, офранцузенных, отуреченных племён славянских. . .”. Обжегшись на идее славянского единения, Валентин Григорьевич напишет горькую статью. “Что дальше, братья-славяне?” Он скептически относился к моей “славянофильской” болезни: “Зря убиваешь время. Достоевский всё сказал по этому поводу. Надо восстанавливать Россию!” И, руководствуясь этим постулатом, В. Г. Распутин свою жизнь положил на то, чтобы Россия стала Русью.

Не помню уже, когда и где, но точно на одном из первых праздников славянской письменности и культуры в 80-е годы прошлого века, который мы — Международный фонд славянской письменности и культуры и Союз писателей России — тогда возрождали, я, выбрав момент, подступил к Валентину Григорьевичу:

— Приближается 200-летие со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова, которого до сих пор мы стесняемся назвать великим писателем. Нужно создать какой-то общественный комитет, который поставил бы во главу угла своей деятельности возвращение России этого славного имени. Может быть, Вы возглавите такой комитет или общество?

— А почему всё должен возглавлять я? — неожиданно резко спросил Валентин Григорьевич.

— Ваш авторитет. . .

— Аксаков — сам по себе авторитет, — прервал он меня. — Создай! . . И возглавь. . .

Уже позже, остыв, он подошёл ко мне:

— Ты прости, что я так резко. Но все ко мне с одним и тем же: возглавь, создай, реши, помоги. . . Если возглавлять, значит, надо, засучив рукава, работать, роль свадебного генерала я не приемлю, а я не семижильный, один только Байкал почти все силы у меня отбирает. Приходиться обивать пороги. И не очень-то ко мне прислушиваются. . . Аксаков — дело святое, начни.

С тех пор прошло почти тридцать лет. И ордена у меня есть: и государственные, и церковные, и престижные премии, но главной наградой для меня было и, наверное, останется, когда Валентин Григорьевич, приехав на очередной, уже Международный Аксаковский праздник, совпавший с 10-летием созданного мной со своими единомышленниками Аксаковского фонда, в книге отзывов и пожеланий написал: “Из всех фондов, которые я знаю, Ваш весь на виду — делается так много и открыто. С такой любовью и радением, что берёт добрая зависть: можем, умеем, делаем не для себя и своего круга, а для России, для её будущего. . .” А на подаренном мне двухтомнике написал: “Михаилу Чванову от автора — с радостью, что есть на Руси такой человек, показавший, что и воин не один, и поле не одно. . .”

У всякого человека есть совесть, только у одних она спит или убита, у других – она объёмнее человека, в котором зародилась или которого для особой цели выбрал Бог, или наказал ею, потому что нелегко с ней жить. Валентин Григорьевич Распутин был совестью всей России. И славянского мира тоже, в трудные, роковые для себя годы славяне вспоминали о нём, тоже просили: помоги, возглавь, спаси... В страшные 90-е годы новой русской смуты дух русского, российского народа поддерживали два светоча: писатель Валентин Григорьевич Распутин и иерарх Русской Православной Церкви, митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн, страстные книги-проповеди которого, похожие на статьи Распутина, по сей день под негласным запретом официальной Церкви – она как бы извиняется за резкость и публицистичность их, призывающих не только на молитву, но и на борьбу с захватившим страну злом. Валентин Григорьевич Распутин никогда не перекрашивался. В советское время, когда, уничтожая русское, утверждалась некая советская общая национальность, он был принципиально русским, за что его, мягко говоря, недолго любила власть и так называемая советская интеллигенция, состоящая преимущественно из представителей “малого народа”. В постсоветское время Распутин принципиально не отказался от принадлежности к реликтовому советскому народу, который, перемолов навязанное зло, остался русским и был далеко не худшей частью человечества. Леволлиберальная антирусская, антироссийская интеллигенция втихую ненавидела Распутина: не успели опустить в могилу гроб, как уже появились пакостные статейки о нём. Другие, вроде бы свои, по глупости подпевали им. К примеру, один региональный информационно-аналитический еженедельник, выходящий под девизом “Сейте разумное, доброе, вечное!”, в коротком сообщении о смерти В. Г. Распутина возвещал: “Распутин был приласкан властью во все времена, он был удостоен практически всех возможных в стране наград и премий”. Что касается первого утверждения, то это, мягко говоря, не совсем правда, что касается второго... Действительно, ещё в советское время был он удостоен многих правительственных наград и литературных премий. Да, советская власть вынуждена была с ним считаться. Но случайно ли его однажды в Иркутске жестоко избили и случайно ли во всём квартале именно в это время оказались отключенными телефоны (мобильников тогда ещё не было!), и долго не могли позвонить ни в милицию, ни в “скорую”. Леволлиберальная пресса с сочувствием, сквозь которое явно просвечивало злорадство, писала, что после перенесённой тяжёлой травмы головы у него не всё в порядке с рассудком, и он уже ничего не сможет написать.

В постсоветские времена те же либералы приклеили к нему ярлык “черносотенца”. Однажды, прилетев на организованный В. Г. Распутиным праздник “Сияние России”, я попытался отказаться от запланированной встречи со студентами и преподавателями местного университета. Валентин Григорьевич, обычно мягкий, строго отказал: “Я пригласил тебя специально в расчёте на университет, в последнее время меня туда не пускают, определив черносотенцем. Туда никого другого я послать не могу, там нужен такой боец, как ты”. Напрочь отвергнутый ельцинской властью, глубоко переживая за судьбу России, он мечтал не в Кремле, а где-нибудь наедине, лучше всего на Байкале, поговорить о судьбе России с В. В. Путиным, который был для него тогда, как и для многих, тайной: то ли, набрав силы, до поры до времени тот вынужден был скрывать свои истинные представления о будущей России, то ли... Наконец, это удалось. И именно на Байкале. При случае я спросил Валентина Григорьевича, о чём они говорили с Путиным. “О России”, – односложно ответил он. Потом добавил: “Больше я пока не могу ничего сказать. Дал слово. Могу только сказать, что я несколько успокоился, хотя уже сколько раз обманывался. У меня появилась надежда, что впереди у нас свет, хотя будет очень тяжело, и не все его поймут”.

Не только леволлиберальной властью и её добровольными приспешниками Распутин был “приласкан” и “обласкан”. Со стороны казалось, что он обласкан самой судьбой. Вся жизнь, можно сказать, как сыр в масле катался. Всегда на виду, на слуху, то и дело в разных президиумах, огромными тиражами на зависть братьям по перу издавались его книги, ну, и премии, конечно, опять-таки кое-кому на зависть, на него “сыпались”. Но это только со стороны. Судьба настоящего писателя в России – всегда голгофа, но в то же время: нет судьбы – нет писателя, ибо настоящие книги пишутся истерзанной душой.

Хотел ли он такой судьбы? Твёрдо могу сказать: нет! всю жизнь он мечтал пожить тихо, спокойно, в ладу с близкими, с природой, наконец – с властью. Но Господь накануне новой русской смуты, о приближении которой тогда мало кто догадывался, почему-то избрал именно его, одарив чередой горьких потерь и обострённым чувством справедливости, сделав его бесстрашным духовным защитником России. Уже в раннем детстве Господь стал испытывать его. Хотя начиналось детство хорошо, более того, можно сказать, счастливое по тем временам было детство. Отец вернулся с войны, заведовал почтовым отделением, мать работала в сберкассе, словом, сельская интеллигенция, имеющая уважение и определённый семейный достаток. Но всё разом порушилось: у подвыпившего отца, возвращавшегося из райцентра, на пароме отрезали сумку с казёнными деньгами, денег было – кот наплакал, но по тем послевоенным временам хватило, чтобы с огромным сроком загреметь на Колыму-матушку, откуда он не вернулся. Матери пришлось уйти из сберкассы. Тяжёлая работа в колхозе, трудодни-палочки, по которым ничего не получишь, трое детей. Как позже рассказывал Валентин Григорьевич, спасала тайга и река: рыба, грибы, ягоды, ловил бурундуков, их принимали в заготконторе, из них шили воротники, выдавая за беличьи. О голодной послевоенной детской безотцовщине Распутина мы знаем по пронзительному автобиографическому рассказу “Уроки французского”. Более поздняя его биография осталась за кадром, она прямо не проявилась в его творчестве. Несмотря на широкую известность, он не стал публичным человеком, не только постороннего человека он не впускал в свою личную жизнь – его выстраданная биография глубоко запрятана в его книгах.

Ударом была смерть в младенчестве сына-первенца, мы даже не знаем его имени. Что касается сына Сергея и дочери Маши, они не пошли по стопам отца, стали “нормальными” людьми. Нет печальнее распространённой картины, за редким исключением, когда у писателя дети, внуки – обязательно писатели, у кинорежиссёра – кинорежиссёры. Сын Сергей стал школьным учителем, дочь Мария – музыкантом-органистом.

Одна из самых горьких потерь – под ликованье фанфар ушла под воду рукотворного моря его родная деревня Аталанка. В громадьё планов по строительству счастливого будущего страны она никак не вписывалась. Что касается её жителей... “Лес рубят – щепки летят”, и полетели щепки от топора в разные стороны. В судьбе родной затерянной в сибирской тайге деревни, в гибели тысяч других русских деревень, не обязательно затопленных водой рукотворных морей, а исчезающих в результате так называемого укрупнения, Распутин зримо увидел будущую вселенскую трагедию России, которую по дури или сознательно отрывают от корней. Словно кто-то целеустремлённо и упорно осуществляет план уничтожения сельской коренной России.

Мы, русские, сироты в собственной стране, потому что теперь почти ни у кого из нас, даже из старшего поколения, нет отеческих и тем более уж дедовских гнёзд: сёл, деревень и даже кладбищ. Россия представляет собой огромный расхристанный детдом от границ до границ.

Из этой безысходной боли родилась горькая повесть-притча “Прощание с Матёрой”.

Сколько сил отобрала борьба против поворота северных рек! Борьба за Байкал!

Господь или кто другой продолжал испытывать его.

В 2006 году в 35 лет погибла дочь, Мария. Распутины гордились дочерью. С отличием окончила Московскую консерваторию по классу теории музыки и органу. Прошла стажировку в Германии. Защитила диссертацию. Преподавала в родной консерватории. Концертировала. Пела в хоре Сретенского монастыря. Вышла замуж за священника.

Затем заболела раком Светлана Ивановна. Известно, что рак вызывают, в том числе, и стресс, потеря иммунитета. Я знаю несколько случаев, когда люди заболевали, пережив большое горе. Светлана Ивановна мужественно боролась с болезнью. Но в 2012 году ушла из жизни.

Болезни наваливались на него одна за другой. Самое страшное: все хуже и хуже становилось с памятью. И вот диагноз: болезнь Альцгеймера. Но знали об этом лишь немногие. К нему по-прежнему обращались с просьбами, обижались, когда он отказывал. Однажды, встретив его в Союзе писателей, я попросил у него новый номер мобильного телефона: не могу дозвониться.

– Ты думаешь, я его помню, – виновато улыбнулся он. – Да и постоянно забываю мобильник дома, вот и сейчас. Мало кто знает о моей трагедии. Приходится делать вид, что ничего не случилось. Врачи ничем не могут помочь.

Потом начались проблемы с почками. Потом обнаружили рак простаты. При удалении аденомы простаты заразили гепатитом С. Он кочевал из больницы в больницу, не миновал и Российский онкологический центр. Старался больше находиться в иркутских больницах: люди добрее, отзывчивее, и родной прибайкальский воздух...

Всё это станет известно потом, после его смерти. Он тщательно скрывал свои беды не только от посторонних, может, стараясь раньше времени не лишать миллионов людей духовной опоры, которой он для них был. Знающие о его бедах боялись его тревожить. А он, по себе знаю, радовался каждому звонку. Несмотря на любовь родных и миллионов читателей, он был очень одиноким по жизни человеком. Я всё думаю: за что ему были даны все эти испытания?

Последняя его книга, которая вышла при жизни: “Эти двадцать убийственных лет”. Убийственных для российского народа, совестью которого он был.

Он был истинно русским писателем, но у него были свои, порой горькие вопросы к великому русскому народу, которые задавал ещё Константин Сергеевич Аксаков. Почему мы не любим идти во власть, объясняя это своей совестью, а потом стонем, когда нам на шею сядет с плёткой какой-нибудь варяг? Впервые привожу один наш разговор.

– Миша, прости меня за такой вопрос: ты чисто русский? – неожиданно спросил он меня однажды на берегу Байкала, когда мы остались вдвоём.

– Вроде бы... – удивился я вопросу. – И по отцу, и по матери из приписных крестьян уральских заводов. Но ведь беда наша, что дальше деда, в лучшем случае, прадеда мы не знаем своих предков. Я, к примеру, только уже при седой бороде стал копаться в родословной, дошёл до начала XVIII века, когда они оказались на уральских заводах. А откуда были переселены, у какого помещика были куплены? Вон татары, к примеру, до XIV века, а то и раньше знают своих предков.

– А у меня много кого намешано. В роду и ссыльный поляк, и цыган, кажется.

– А почему ты это спросил?

– Понимаешь, чисто русский ныне какой-то инертный, на исходе, на излёте исторической судьбы, что ли. Без воли, потеряв в себе веру. Поплакать по погибающей Руси, разорвать в пьяном угаре рубаху. А ты такой деятельный.

Валентин Григорьевич никогда не демонстрировал своей веры в Бога, хотя был поистине верующим и в этой вере был строг к самому себе. В одном из писем, которые я теперь перечитываю только с лупой, – таким мелким был его почерк! – он писал мне: “Миша, боюсь, что ты прав, что мы, скорее, хотим верить, чем веруем на самом деле”. Это его мучило до последнего дня. Он был истинным христианином, он простил В. П. Астафьева, в отличие от не простивших его учеников, за его постыдный для большого русского писателя флирт с ельцинской властью в надежде получить Нобелевскую премию. Даже поехал искать примирения на могилу Астафьева. Он простил возомнившего себя чуть ли не вторым Иисусом Христом Александра Солженицына. Валентин Григорьевич даже принял Солженицынскую премию... Потом будут говорить, что он якобы дорожил ею больше других премий. Зная, что, мягко говоря, я без восторга принял факт принятия им этой премии, хотя никогда не говорил ему об этом, он однажды, опять-таки на Байкале, как бы оправдываясь, сам начал этот разговор: “Надо как-то соединить разорванные русские ветви, в последние годы Солженицын многое понял”. Я отмолчался. Как истинный христианин, Валентин Григорьевич пытался соединить в русском народе, может быть, несоединимое.

Распутин не любил неискренность и болтунов. Прежде всего, в писательской среде, искал и воспитывал людей, которые что-то реально пытались делать, кроме того, что писали. Слово ещё неизвестно, когда и в ком отзовется, а спасать Россию нужно реальными делами сегодня. К нему лезли, как сначала и я, просили что-то возглавить, за кого-то заступиться, трудно было выдерживать всё это, иногда выводило из себя. Он мечтал об уединении, по-

кое, это редко удавалось. Он не мог изменить своей совести, которая была шире его. Он, конечно, понимал, что принадлежит не только себе и семье, он понимал, что он – орган народного организма, название которому – совесть. Своего рода компас, и для многих тысяч людей он был и совестью, и компасом одновременно.

В лихие 90-е, да и позже, в так называемые нулевые, стрелка народного компаса металась из стороны в сторону, искала, прежде всего, духовной опоры. Нарождался или возрождался класс предпринимателей, который должен был вывести страну из тупика. В него входили разные люди. Одни, выбросив совесть на помойку, торопливо расхватывали то, что осталось от не успевших до конца растащить, приватизировать представителей шустрого “малого народа”, другие пытались встать на ноги честным трудом, их одинаково гнобили и государство, и бандиты, первое – непомерными налогами и чиновничьими поборами, вторые – рэкетом, который мало отличался от чиновничьих поборов; непокорных убивали. Но ради справедливости нужно сказать, что порой братки и члены всевозможных ОПГ были большими патриотами России и державниками, чем тогдашняя кремлёвская власть. Не все были ангелами, и кое-кто на первых порах помогал Аксаковскому фонду: Сашу Иванову убили в собственном кабинете, другого предпринимателя судили 6 раз, каждый раз суд признавал его невиновным, а его арестовывали снова и снова, пока не повесили в СИЗО. Третьего, собравшегося мне помогать, моего бывшего дипломника в бытность моей работы в газете, но бросившего журналистику, как он говорил, по причине принадлежности её к первой древней профессии, окончившего военно-морское училище и закончившего службу в чине контр-адмирала, решившего на пенсии заняться нефтяным бизнесом, расстреляли из автомата Калашникова в Москве в подъезде собственного дома. Через много лет станет известно: бывшего военного моряка застрелил бывший военный моряк-подводник Пуманз, ставший знаменитым киллером.

Во время одного из Аксаковских праздников на чаепитие в Мемориальном доме-музее С. Т. Аксакова в Уфе, узнав, что на нём будет присутствовать Валентин Григорьевич Распутин, напросился один из крутых предпринимателей первой волны.

– Можно я подъеду, – обычно недоступный и неприступный, неожиданно позвонил он мне. – Можете меня не представлять, я просто посижу в уголке и послушаю. На телеэкране теперь его не увидишь, по радио не услышишь. И газеты его больше не печатают.

Валентин Григорьевич под впечатлением поездки в Аксаковский историко-культурный центр “Надеждино”, после службы в Дмитриевском храме с горечью рассказал, как пытается построить на своей родине, в районном центре, куда пришлось переехать после гибели Аталанки, церковь, но дальше фундамента дело не пошло: в селе народ обнищал, ходить по богатым с протянутой рукой – не в его правилах. Тем не менее, к одному сунулся, ко второму – отказали. Когда вечер закончился, предприниматель спросил его:

– Когда Вы уезжаете?

– Сегодня, часа через два.

– Сегодня поздно, банки уже закрыты, передам через Чванова.

Валентин Григорьевич, не поняв сказанного, недоуменно пожал плечами. Через день я позвонил ему:

– Поезд “Москва–Владивосток”, вагон 7, проводник Сергей. В Иркутск приходит ночью. Возьми паспорт, в темноте он может тебя не узнать. Один не встречай. Возьми сына Сергея и ещё какого-нибудь крепкого парня. Там будет посылка.

– А что за посылка?

Я не мог по телефону сказать, что там будет крупная пачка долларов, потому сказал первое, что пришло в голову:

– Мои книги.

– А что, ты не мог отдать мне их в Уфе? – В голосе Валентина Григорьевича было некоторое раздражение. – И что, они такие тяжёлые, что надо несколько мужиков?

Когда Валентин Григорьевич через несколько дней растерянно позвонил, что получил посылку, я ему объяснил:

– Тебе на храм. Ты, наверное, думаешь, что этот человек завалил Аксаковский фонд деньгами. Он не дал в фонд ни копейки, он пришёл в музей, чтобы увидеть и услышать тебя. Он дал деньги именно тебе, Распутину! Ему не надо никаких отчётов. У него единственная просьба, чтобы ты нашел надёжного мужика-строителя, который не пустил бы их по ветру или по карманам.

Позже Валентин Григорьевич рассказал мне, что на каком-то приёме у губернатора тот спросил, как обстоят дела с церковью? Он ответил. “Плохо. В селе народ нищий, а ходить по богатым с шапкой... А вот поехал в Башкирию на Аксаковский праздник, никого не просил, вдруг мне дали, что хватило сруб поставить да кое-что из стройматериала приобрести”. Губернатор пригласил предпринимателей, пристыдил, так удалось достроить храм. А потом я позвонил в Каменск-Уральский члену Попечительского совета Аксаковского фонда Николаю Геннадьевичу Пяткову, колокола которого по всей России и в православных храмах по всему земному шару, который отливал колокола для Свято-Никольского храма в самом древнем русском селе на территории нынешней Башкирии – в селе Николо-Березовка на Каме – и для Дмитриевского храма в аксаковском Надеждине: “Отлей, пожалуйста, без очереди... – И с большой скидкой”, – за меня добавил Николай Геннадьевич. Так на родине Валентина Григорьевича заговорили колокола, родственные аксаковским.

В один из моих приездов в Иркутск – мы тогда с В. М. Клыковым искали в городе место для памятника расстрелянному там А. В. Колчаку – к нам в гостиницу неожиданно пришёл предприниматель, у которого была выкупленная земля на Ушаковском рынке недалеко от места, где Колчака расстреляли, и предложил там поставить памятник, раз другого места в городе не оказалось. В конце концов, памятник встал около Знаменского монастыря, в котором Валентин Григорьевич будет похоронен.

Последнее время я редко бываю в Москве. Минувшей осенью, будучи в Москве пролётом в Пятигорск на Международный литературный форум “Золотой витязь”, я планировал навестить Валентина Григорьевича, в его телефонных звонках было всё больше и больше печали. Но в Союзе писателей мне сказали, что он в подмосковном санатории, и я звонить не стал. Вернулся в Уфу, не заезжая в Москву, лишь переехав из аэропорта в аэропорт. И вдруг его звонок: “Я узнал, что ты на днях был в Москве. Я знаю, тебе сказали, что меня не было в городе. А я как раз на день приезжал. Жалко, встретимся ли ещё...”

Я пытался его успокоить: в следующий раз обязательно заеду. По зиме специально приеду.

Следующего раза не получилось...

А в Аксаковском историко-культурном центре с символическим названием Надеждино, на родине великого печальника славянства и Земли Русской, Ивана Сергеевича Аксакова, около стены храма во имя Дмитрия Солунского, покровителя всех славян и русского воинства, в котором в Дмитриевскую поминальную субботу служба по всем убиенным за Родину, “за други своя”, стоят рядом два дерева, посаженных Вячеславом Михайловичем Клыковым и Валентином Григорьевичем Распутиным.

Письма В. Г. Распутина М. А. Чванову

19.08.2002

Иркутск

Дорогой Миша!

Решаюсь я всё-таки поднатянуть свои жилы и приехать в Уфу. Что делать! Дав слово – держись! Но это может произойти лишь в том случае, если вы оплатите мне дорогу из Иркутска и обратно, просить у нашей администрации я уже не могу, потому что поездка в Москву в начале сентября всё равно состоится, и устраивает её она, администрация. В Москве я буду даже в конце августа, числа 29-го, а числа 10-го сентября возвращаюсь в Иркутск. Выходит, что ненадолго.

Хорошо если бы ты мне позвонил в Москву (244-02-36) в последние августовские или первые сентябрьские дни (затем могу улететь в Тобольск) <и> разъяснил следующее:

а) когда выезд из Москвы в Уфу и поездом или самолётом? 26-го или днём раньше?

б) на сколько? Вполне может быть, что я буду возвращаться несколько раньше. Но это в зависимости от того, как долго останется основная группа.

в) будут ли поездки внутри вашей республики?

г) будет ли Савиных? Конечно, мне очень хотелось бы заарканить его затем в Иркутск. Я, не удержавшись, уже обещал его у нас. Как и тебя. Как и В. Ильешеви́ча, который, кажется, тоже мобилизован тобой. Эх, узок круг наш, узок!

Остальные вопросы, которые непременно появятся, я задам уже при разговоре, но предварительный разговор обязательно нужен.

Извини, что огорчил тебя предварительным отказом, но лучше проверить надёжность крючка заранее, чем срывать с него в последний момент.

Обнимаю тебя.

В. Распутин

04.01.04

Москва

Дорогой Миша!

Хоть и с опозданием – с Рождеством Христовым тебя и с Новым годом! И пусть ангел-хранитель не оставляет тебя, как он не оставлял до сих пор!

До Николая Пяткова я дозвонился, и о заказе мы с ним договорились, теперь буду добывать деньги. Но пока отправляюсь, завтра в больницу по накатанной дорожке в Обнинск, где лечились Валерий Николаевич и Игорь Ляпин. А теперь и мне приспело: здесь болит, там болит, то ли “пугают”, то ли берутся всерьёз. На чужих ветрах сибиряки слабнут, я это давно замечаю.

Больше недели, прихватив и новогоднюю ночь, промаялся в гриппе; хоть завтра и еду, а не знаю, возьмут ли с моими “признаками”.

25 декабря должна была состояться в “НС” редколлегия, но не состоялась. И узнать, что с твоей рукописью, не удалось. За десять дней до нового года – никого в редакциях, и спустя две недели – никого. Глушь, безлюдье, тишь и гладь. В союзе жизнь начнётся в феврале: кажется, 2-го пленум, а затем два дня ВРНС, тогда, надеюсь, и увидимся.

Президент ваш остался – хорошо. В Думе перемены тоже неплохие. А надёжу не прибывает. А годочков уже под 70. Одно утешение: как всякая перелётная птичка, начинаю я уже привыкаться к восточному ветру, когда потянет весной.

Спасибо, что добыл ты мне координаты М. Пяткова. Перед Сибирью, может быть, удастся съездить к нему. Дал бы Господь здоровышка, а так-то чего...

Обнимаю тебя

В. Распутин

22.08.06

Иркутск

Дорогой Миша!

С большим опозданием поздравляю тебя с Большой литературной премией. Премия “Большая”, но и соискателей становится все больше. Я рад за тебя, правда, при вручении я не обнаружил тебя на фотографии (или уж вижу до того плохо, что своих не узнаю), и всё-таки не было – или уезжал куда, или болел.

О нашем несчастье ты знаешь. Вот и сорок дней прошло, а боль и пустота нисколько не меньше. Вот теперь я определённо взял направление на “выход”. Едва ли смогу писать; понадобилось сделать одно небольшое предисловие – сидел-сидел и не смог. Подвёл Володю Толстого: пообещал статью, но из камня выдавливались только слёзы. От всякого общения бегу; чтобы не быть на “Сиянии России”, согласился с театром (везут “Матёру”) поехать

в Монголию. Ко мне, видимо, и подступаться тяжело: один рядом с не перестающей плакать женой. Желание одно: исчезнуть, так сказать, на собственных ногах, забиться в такой угол, чтобы нельзя было выковырнуть.

Я всматривался в тебя после кончины жены: мужественная жизнь смолоду наделила тебя мужеством на всю жизнь. И ты не выронил пера из рук. А я вот этого – выронить – боюсь больше всего.

Ну, да ладно, будем как-нибудь жить. В сентябре нам со Светочкой придётся, вероятно, на неделю приехать в Москву, чтобы выполнить кое-какие необходимые формальности, а затем опять в Иркутск до ноября-декабря. Не обойди, пожалуйста, Миша, когда будешь в Москве.

До чего тяжёлый год: С. Климов, С. Викулов, И. Стрелкова! И многие, многие другие. Накануне Сережа Лыкошин...

Ещё раз поздравляю, Миша, с премией. Это вовремя. Едва ли ошибаюсь: писателскому нашему союзу осталось жить лет десять. А вот твоё аксаковское дело, верю, надолго.

Обнимаю тебя
В. Распутин.

13. 01. 07

Дорогой Миша!

Пишу в канун старого Нового года, поэтому ещё не поздно поздравлять тебя с русским новолетием и пожелать тебе сил и терпения.

Я ведь тоже теперь живу по инерции, надо – и поднимаешься, садишься за стол или идёшь куда-то, а по дороге и понять не можешь, куда и зачем идёшь. Все писательство (помнится, в сентябрьском письме ты говорил о том же) – некрологи, воспоминания об ушедших (С. Лыкошин, Ю. Андрианов и др.), предисловия к чужим книгам, но и это всё с трудом. Началось это ещё до гибели Марии, а после уже усугубилось. Прошло полгода, и мало кто верит, что за это время нельзя восстановить силы, приступают бесцеремонно: ты должен!.. Должен – не должен, а не могу, и вернётся ли это чувство долга, не знаю.

Удивился я и ещё одному совпадению с твоим то ли настроением, то ли ощущением: мы больше хотим верить, чем веруем на самом деле. Во мне это точно есть. Пытаешься погрузиться – и не получается, чувствуешь себя рядом с батюшками и верующими серьёзно обманщиком. Я с владыкой нашим говорил об этом, он успокаивает: “Да вы верующий больше, чем верующие по всем буквам веры”, – но я-то знаю, что это не так и что своей откровенностью я ставлю добрейшего нашего владыку в неловкое положение.

В Москве мы с 1 декабря, и по сию пору я старался в свет не выходить. Теперь уже придётся: через три дня 80-летие Е. И. Ташкова, режиссёра, снимавшего “Уроки французского”, через неделю не то 70, не то 75 Михаилу Ножкину. А там колесо по московской брусчатке загремит всё учащенной и быстрее. О своем юбилее стараюсь не думать, но в большой зал всё равно пойду и события из этого делать не стану. Ничего по доброй своей воле – разве что, как Стеньку Разина, в путах и кандалах повезут на лобное место.

Надеюсь на скорую встречу, Миша. Хоть чаю попьём, если уж для водки не годимся.

А на “шевроле”, подаренном президентом, мы ещё прокатимся по вашим просторам. Если летом, как расплата за несостоявшуюся зиму, не выпадут снега.

Обнимаю братски,
В. Распутин

24. 10. 07

Иркутск

Дорогой Миша!

Спасибо за письмо – и так обидно, что не пришлось тебе побывать у нас. А хуже всего, что и последние деньги вытряс на бандитскую авиацию. Остался ли билет из Уфы? Ведь его можно возместить. Если остался, вышли ты его мне, пожалуйста, без комплексов, и пока я здесь, мы хоть его выведем на суд праведный.

Летал нынче в начале сентября в Москву. На трап пришлось подниматься, потому что потребовалось (сроки выходили) подтверждение, что льготы свои “геройские” я по-прежнему готов получать в рублях. Почему каждый год надо подтверждать и половину этих льгот выбрасывать на прибытие к месту подтверждения? Вся процедура заняла вместе с метро полтора часа, а прогулка по воздуху туда-сюда – 15 тысяч. Летали к тому же вместе со Светланой, но это уж был её каприз, с которым я не стал спорить. В себя она ещё не пришла, приходится считаться и с этим.

За жизнь свою я летал много, даже очень много. Не боюсь летать и теперь. Но стало противно, до того противно, что готов был стонать от какого-то неприятного сжатия внутри. И народ, показалось мне, летает теперь призрачный, невесёлый, но это, возможно, признаки времени, существующие и на земле тоже.

В Москву отправимся, вероятнее всего, в середине ноября. И до начала апреля там, не проходи мимо.

“Сияние”, на которое ты не попал, прошло у нас неплохо, всю гарцевал Савва, но чувствуется: выдыхается наше “Сияние” (в 19-й раз), нет уже ни задора, ни уверенности, что наработал он в этот раз столько-то и столько-то. Стареет видимо, всё, что набирает годы. Устаёт. 20-е “Сияние” мы, конечно, проведем и постараемся собрать лучший народ, а уж там... как Господь позволит. Я уже два года выполняю всего лишь подсобную роль, а затем и это не смогу.

Вот уже два года работать не могу совершенно. Миша, пробовал предисловия, сижу по две недели над двумя-тремя страничками, и результат дохлый. Настаиваю, всё верится, что вернётся хоть половина слова, – нет, или пусто, или через пень-колоду. Придётся доживать в молчании, я с этим уже смирился. А что ещё оставалось?

Аброщенко кланяюсь. Есть люди и в наше время. Это и поддерживает дух. Вот они-то и выведут нас. Верю, что выведут. Ведь каждый такой Аброщенко за тысячу (больше!) стоит – и выстоят. Только, вероятно, уже без нас. Нет, ты-то застанешь и будешь свидетелем, и как-нибудь и мне об этом сообщишь.

У нас первая зима. Сижу на даче, как в норе, а вокруг белым-бело и тихо. И верится, что всё в свете и человеке выстоит всё-таки на своих собственных основаниях, и нам, глядишь, поможет.

Обнимаю тебя.
В. Распутин.

30.06.08
Москва

Дорогой Миша!

Давно мы не переключались с тобой, давно ты, по-видимому, не был в Москве, и никакие слухи о тебе не доносятся. Правда, и я на Комсомольском бываю редко, по летнему времени там никого и не застанешь. А я нынче застрял в Москве, и когда вырвусь – неведано. Заболела Светлана, сделали операцию, и теперь на всё лето с небольшими перерывами – химиотерапия. Дай Бог, чтобы в августе хотя бы дней на десять вырваться.

Не работаю и, наверное, уже не смогу. Дежурные фитюльки приходится делать, но и в них уже не моя рука. Говорю об этом, не жалуясь, да и воспринимаю своё новое положение спокойно. Богатыри – не мы, “не я” – надо говорить, а богатырские подвижники у нас есть.

Хотел бы послать В. В. Аброщенко свою “Сибирь” (привезли из Иркутска десяток экземпляров, а до того не было), но опасаясь, что по летнему ненадёжному времени вдруг некому будет получить, и завернут обратно. Вспоминаю его часто. Вообще Уфу вспоминаю часто. Она до сих пор щедра ко мне. На днях в Госуд<арственной> (Ленинской) библиотеке Савва Ямщиков устраивал презентацию своей книги. Я был среди зрителей. И вдруг подсаживается ко мне женщина и протягивает баночку башкирского мёда. Я: “Да не надо, да что вы!” – а она пристыдила меня, вручила и отошла, я потом и не нашёл её. Пришлось и самому себя пристыдить, но мёд был таким душистым – запашистым, что и стыд мой в нём растворился.

В августе Валерию Николаевичу 75, а до конца года (может быть, с заездом в новый год) надо будет проводить съезд. 75 – это, конечно, много,

но и замены, кажется, нет. Худо-бедно, но он сохранил союз, а что дальше может быть – Бог весть.

Доброго тебе лета, Миша, доброго настроения, работы и, конечно, отдыха.

Обнимаю,
В. Распутин

26.07.08
Москва

Дорогой Миша!

Спасибо за скорый отзыв. Ты, слава Богу, продолжаешь жить полноценной приключенческой жизнью, как в молодости, если на тебя бросают взгляды не только женщины, но и профессиональные воры (история в Болгарии). А я закис по всем статьям. Остаться на лето в Москве, хватать воздух, как рыба, выброшенная на песок, – я подозревал, конечно, что это испытание, но не такое же, в котором оказался... Надеюсь хоть на недельку в начале августа слетать в Иркутск и набрать там во все жабры родного дыхания, но ещё нет полной уверенности, что получится.

На Аксаковский праздник едва ли приеду. Химиотерапия у Светланы займёт ещё и август, и сентябрь. Но это не единственная причина, показывать меня народу уже нельзя, в этом качестве сдох окончательно. Более полугода пытался хоть немножко вернуть свою память под руководством академика из Сеченовской мед<ицинской> академии, выбросил на лекарства уйму денег, но лучше не стало, стало ещё хуже. Собираюсь бросить: живут же глухие, немые, а чем я хуже? В России сейчас только глухим и немым да жить... По этой же причине и писать не могу. Сижу днями над одностраничным текстом – и бестолку.

Кандидатура Стаса Куняева на Аксаковскую нынешнюю премию мне кажется очень достойной. Несмотря на ваши разногласия с журналом. Не торопись ты, Миша, выходить из редколлегии. Приедет Стас, поговорите, и тогда будет ясно, что делать.

А твою работу о Нансене, конечно, надо печатать. Не со всем я в ней согласился, но статья нужна, очень нужна. Слова Казинцева: “Ну, был хороший человек, ну и что?” – всерьёз принимать нельзя. Ни хороший человек, ни плохой по справедливости не должны быть забыты. А уж о такой могучей фигуре, как Нансен, и говорить нечего. И пусть не в каждом городе ему надо ставить памятники, как ты, разгорячась, предлагаешь, но и единственный московский памятник, о котором даже я не слышал, это пшик, не более того.

В чём мои претензии, очень осторожные, на которых я не могу настаивать. Прежде всего, в твоей горячности. О Нансене надо говорить спокойно, тогда и убедительно будет. А сцена, к примеру, с Калининым, который при встрече с Нансеном пил пустой чай, а когда тот ушёл, отправился откушать в спецбуфет и т. д. И на абзац с правителями-недоумками... Я говорю не о том, что это несправедливо, а о неподходящем к этой статье тоне, иногда у тебя прорывающемся. Нансен, конечно, тоже многим в России возмущался, но сдерживал себя в интересах дела. Бери и ты пример со своего великого героя. Прости за нравоучения, не удержался.

Повторю: статья эта очень и очень нужна. Ради справедливости, как российской, так и мировой. Если же не “НС” – есть ведь ещё и ганичевский “Роман-журнал”, есть областные журналы, в том числе “Сибирь”.

В. Н. Ганичеву 3 августа 75, ты очень и очень прав, говоря о его значении в наше время. Я согласился, несмотря на свою инвалидность, написать о нём статью в газету (“Сов<етская> Россия”). И, кажется, запорол... Дал посмотреть В. Н., а он, бедный, не знает, как отозваться.

О-хо-хо! Старость – не радость, все грехи наружу. Но я научился относиться к этому спокойно. Однако же обидно, что не понимают, считают, что я сознательно, в каких-то своих расчётах ухожу с поля боя. Ну, ничего, и это пройдёт и быльём зарастёт.

Обнимаю тебя, Миша. И прости, если ненароком обидел.

В. Аброщенко книгу собираюсь отправить.

К сему
В. Распутин

23.11.08

Дорогой Миша!

На последнее, да и давнее уже письмо твоё я ответил, да ведь не до конца, а потом и пропал. А ведь следовало подсказать, чтобы статью свою о Нансене, если она ещё не устроена, ты отправь в Иркутск Васе Козлову. Никакой памяти у меня не стало. И это уже не оговорка. Рак у жены, операция и до сих пор химиотерапия. Я дважды терял сознание и вместе с тем терял память. Сейчас вот уже месяц в больнице, пытаются вернуть или, вернее, закрепить остатки, но получается плохо. Писать тебе уже окончательно не смогу. Да и говорю кое-как. В сторону отступить – дело нехитрое, так я и делаю, лишь бы не повторялись удары.

Говорю об этом не для того, чтобы пожалели, но вот странность: именно в эту-то пору, когда в голове стало просторно и пусто, я и вспомнил о Нансене, о том, что работа-то твоя, должно быть, до сих пор отдыхает. Сослаться можно на меня, когда будешь писать Козлову.

Впереди вроде писательские сборы, может быть, и встретимся. Дошла ли до Аброщенко “Сибирь”?

Обнимаю тебя
В. Распутин